

Десятый десяток



Новое
Литературное
Обозрение

ЛЕОНИД
ЗОРИН

ДЕСЯТЫЙ
ДЕСЯТОК



Новое
Литературное
Обозрение

МОСКВА
2022

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
3-86

Редактор серии

Д. Ларионов

Зорин, Л.

3-86 Десятый десяток. Проза 2016–2020 / Леонид Генрихович Зорин; составитель — А. Зорин; предисл. М. Кучерской. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 648 с.

ISBN 978-5-4448-1789-6

Поздняя проза Леонида Зорина (1924–2020) написана человеком, которому перевалило за 90, но это действительно проза, а не просто мемуары много видевшего и пережившего литератора, знаменитого драматурга, чьи пьесы украшают и по сей день театральную сцену, а замечательный фильм «Покровский ворота», снятый по его сценарию, остается любимым для многих поколений. Не будет преувеличением сказать, что это — интеллектуальная проза, насыщенная самыми главными вопросами — о сущности человека, о буднях и праздниках, об удачах и неудачах, о каверзах истории, о любви, о смерти, приближение и неотвратимость которой автор чувствует все острее, что создает в книге особое экзистенциальное напряжение. И конечно же, о творчестве, а конкретней о писательстве, которое, по свидетельству Зорина, и счастье, и каторга, и тайна, ее он не устает разгадывать, глядя в себя, в свои возможности, в свою неутолимую творческую неудовлетворенность. В книгу помимо небольших повестей вошли и отобранные его сыном самые последние записи, которые автор вел до конца дней и которые представляют собой особый жанр, афористичный и чрезвычайно емкий, позволяющий почувствовать естественный, как дыхание, ежедневный труд осмысления завершающейся жизни.

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Л.Г. Зорин, наследники, 2022

© А.Л. Зорин, составление, 2022

© М.А. Кучерская, предисловие, 2022

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2022

© ООО «Новое литературное обозрение», 2022

Содержание

<i>Майя Кучерская. Dum spiro scribo</i>	7
Мастерская Волина	16
Братья Ф.	68
Бубенчик	117
Лишние слезы	153
Крест	175
Под занавес	214
Камера Дунца.	257
Аз	287
Тайны молчания	338
Тушите свет	386
Власть	426
Присядем перед дорогой	462
Догадки и подсказки. Белый коридор	
Догадки и подсказки.	494
Белый коридор.	552
Дамир	591
Вдогонку за последней строкой. (Публикация и вступительная заметка Андрея Зорина)	609

Dum spiro scribo

1

Книгу «Десятый десяток» составили небольшие повести — преимущественно они, хотя в сборник включена и одна пьеса. Леонид Зорин писал эти тексты в самые последние годы, действительно в девяносто с лишним лет.

Казалось бы, это ли не возраст мемуаров, внимательных воспоминаний о прожитых годах и эпохах? Но нет, это книга не о минувшем, а о призвании и ответственности за него. Автор знаменитых «Покровских ворот» и «Царской охоты» смотрит словно бы сквозь свое прошлое — глубже, дальше, вглядываясь в то, что стояло за потоками событий и встреч, и исходя из того, что жизнь не складывается сама собой, человек выстраивает ее сам. Разумеется, обстоятельства, рок, случайности играют свою, счастливую или трагическую роль, и все-таки главные выборы и поступки совершает главный герой.

Леонид Зорин осмысляет именно это: выборы и точки роста, определившие его литературную судьбу. Траектория собственного писательского пути и есть метасюжет этой прощальной книги, проступающий во всех без

исключения повестях — и откровенно автобиографических, и тех, где действуют вымышленные герои, впрочем, часто авторские двойники.

Станций, на которых Леонид Зорин останавливается снова и снова, несколько. Первая из них — родное Баку.

«Полуденный щедрый юг», где «порт, и плеск маслянистой волны, пахнувшей мазутом и солью», этот звонкий и красочный мир, как предполагает автор, во многом и пробудил в нем любовь к слову, желание самому создавать такие же миры. Случилось это очень рано, почти в младенчестве — впервые, помахивая карандашиком, мальчик объявил родителям, что станет писателем, в четыре года. И тогда же сочинил свои первые строчки. 90 лет спустя он описал свой тогдашний восторг так: «Испытываешь острую радость, когда открываешь в себе способность найти созвучья и породнить слова, которые жили врозь, помочь их встрече, соединить их».

Радость от соединения слов оказалась такой силы, что к десяти годам юный автор написал свой первый стихотворный сборник, включивший и стихотворения, и поэмы. Юный поэт вырос, выучился и отправился покорять Москву. И послевоенная столица ему улыбнулась, его дебютная пьеса «Молодость» была поставлена на сцене Малого театра, а дальше премьеры новых пьес сопровождался почти каждый год.

Наш герой зажил «нарядной и небезопасной жизнью профессионального драматурга», в которую, впрочем, вместились не только слава, но и запреты на постановки, и годы исключенности из литературного процесса.

В последние два десятка лет служение театральным музам сменилось сочинением прозы, сдержанной, лаконичной, действительно «суровой», без стилистических излишеств и шумных игр. Языковая палитра позднего Леонида Зорина — преимущественно черно-белая.

И вот она финальная станция — на ней стоит человек, которому остались считанные годы, месяцы, отвлекаться на второстепенное некогда, хочется думать только о самом важном: да что же собственно это значит, 90 из 95 отведенных лет заниматься сочинительством? Что такое вообще призвание?

Впрочем, Зорин явно предпочитает ему слово «профессия». Потому что если писательство и призвание, то «каторжное». Романтические и мистические коннотации неуместны, писать — радостно, но тяжело. «Творчество, может быть, — высшее счастье, которое дано человеку. Хотя это прежде всего изнурительный, если угодно, каторжный труд».

2

Книгу открывает повесть «Мастерская Волина», герой ее, известный писатель и очевидный авторский двойник, недаром носит фамилию Волин. Здесь слышна перекличка и с собственной фамилией, и с толстовским Жилиным, кавказским пленником, мечтавшим о победе из неволи, из предложенных невыносимых обстоятельств. Но в семантике имени Волин скрыт и другой подтекст. Это не только воля как синоним свободы, это и та воля, что влечет автора к победе над текстом, к неременному

завершению начатого труда. Чтобы дойти до конца, необходима именно воля. «Есть три условия, три составляющие любого писательского успеха. Надо иметь хороший вкус и графоманскую одержимость. Конечно, известные способности. Но есть и еще одно, самое главное — железная, жестоковыйная воля», — формулирует Леонид Зорин уже в повести «Присядем перед дорогой».

В «Мастерской Волина» немолодой писатель объясняет своей возлюбленной, литературной даме, тоже сочиняющей прозу, как следует работать над произведением. Начинать надо, понятно, с замысла. Выносить его, выстрадать, после этого подыскать «равные ему по калибру» характеры, а затем и жанр, и стиль — из разговоров героя с собеседницей складывается настоящий учебник писательского ремесла в свободных главах, пропитанный все той же заветной мыслью: жизнь литератора «не изюм», а галеры, не парение, а «бурлацкий труд».

И все же помимо воли, способностей, одержимости в запасе у писателя должно быть еще кое-что. «Литература — это память», этим афоризмом одарил тогда еще десятилетнего Леонида Зорина Исаак Бабель.

Бакинского вундеркинда решили показать Горькому, а в компании Бабеля мальчик ехал к нему в Горки.

При встрече Алексей Максимович нацедил юному поэту немного водки:

«— Пей, Леня, водку, коли писатель. Все писатели водку пьют. Я выпью, и Бабель выпьет тоже. Выпей уж с нами, от всей души. Не подводи-ко нам коммерцию.

Так вновь я был посвящен в этот орден, в тот же ошеломительный день».

Дело происходило в 1934 году, за два года до смерти Горького. И действительно поразительно, ошеломительно встретиться с ним живым, успеть получить его благословение. И все же настоящим учителем для Зорина стал Исаак Бабель. И неважно, что общение с ним продолжалось всего несколько часов. В машине, по дороге в Горки, Бабель общался с мальчиком на равных, тепло и заинтересованно, называл собеседника на «вы». Они успели обсудить Гоголя, театральное искусство и перенасыщенный событиями, еще только на треть прошедший, XX век, про который писателям будет что рассказать.

Полный восхищения и любви портрет автора «Конармии» и «Одесских рассказов» — из лучших страниц в книге. Судьба Бабеля словно бы стала для Леонида Зорина зеркалом, он смотрелся в нее, узнавая и не узнавая себя: рождение в южном городе, литературный дар, иудейство. «Должно быть, жила в нем дурманная музыка, своя сокровенная мелодия, своя озорная, веселая тайна. Недаром же в таком изобилии рождались в нем жаркие, звонкие люди. Неугомонные непоседы. Неукротимые фантазеры».

Но именно это — неукротимость, внутренняя независимость Бабеля и убила, потому что из всех рамок и ролей он выламывался:

«Не то очкарь, щелкопер, придумщик.

Не то буденновец, конармеец.

Однако Буденный его не терпит, имени его не выносит.

Но любит Горький, наш буреизвестник, великий пролетарский писатель».

Однако Горький умер, а вскоре после этого Бабель был арестован и тайно расстрелян. Он не успел завершить роман и встретил НКВДшников усмешкой: «не дали закончить». И все же он успел написать немало талантливых текстов, а однажды одарить юного поэта из Баку двумя афоризмами: «Литература — это память». И «истинная страсть молчалива».

Мальчик эти слова запомнил. Они прозвучали как благословение и завет, который Зорин исполнял потом всю жизнь. Предпочитал лаконичную форму, писал плотно, энергично, но немногословно, без стилистической пышности и повествовательной безбрежности, недаром любимыми жанрами его оставались пьеса, затем повесть, не роман. И еще всегда опирался на воспоминания о встречах, разговорах, событиях. Ведь и самая знаменитая его пьеса «Покровские ворота» — воспоминание о молодости в московской коммуналке.

3

Рассказ о Бабеле и Горьком в этом сборнике появился, потому что встречи с ними напрямую связаны с посвящением автора в литераторы. Все же «Десятый десяток» никак не мемуары, хотя невозможно об этом немного не вздохнуть украдкой: сколько сцен и историй мог бы рассказать автор, начавший свой путь при Сталине и доживший до наших пандемийных времен! Но замысел есть замысел, перед нами не воспоминания, а credo о том, что

значит быть писателем. Это кредо проговорено отчетливо, но без пафоса. И суть его сводится в общем к почти скучному «честно делай свое дело»: пиши буквы, соединяй слова. Пиши, пока живешь, пока дышишь, в этом и заключается твое противостояние энтропии и смерти, пиши о самом важном, пиши, но не предавай себя и профессию. Вот такой *modus vivendi*.

«Соловьиная пора» Леонида Зорина пришлась на подцензурное советское время, и Зорин рассказывает о запрете (сразу после премьеры!) пьесы «Гости», отважно поставленной Андреем Лобановым в театре имени Ермоловой, но это, пожалуй, и все. Подобные истории, более и менее сокрушительные, несомненно сопровождали честного писателя постоянно, однако «Десятый десяток» — не сведение счетов, не выяснение отношений с властью, это книга о ремесле и о том, какие жизненные выборы могут обеспечить его спокойное развитие. Один из ключевых — дистанцирование от государства.

И хотя политические темы обычно не выходят в этом сборнике на первый план, взгляды Леонида Зорина реконструируются без труда. Тоталитарный режим для него очевидное зло, Сталин — однозначно убийца: «Я никогда не соглашусь, что тот, кто, не дрогнув, извел, уничтожил почти миллион своих соотечественников, не злобный палач и кровавый преступник, а лидер и умелый хозяин». И, значит, единственно возможная жизненная стратегия для писателя, живущего в государстве, стоящем по колени в крови собственных граждан — держаться подальше. «Сознательно выбранное

отстранение» — вот формула писательского поведения, предложенная в автобиографической повести «Дамир», одной из самых тонких в книге. В ней рассказывается о встрече с бакинским одноклассником, одаренным и целеустремленным, ставшим государственным человеком и однажды предложившим нашему герою если не прямое сотрудничество, то во всяком случае сближение с государством. Напрасно, предложение было вежливо, но твердо отвергнуто, соблазн отсечен. Никаких объяснений этого решения не последует, но все в общем и так прозрачно. Иначе писателя в себе не сохранить, иначе вообще не выжить.

«Нужно лишь раз навсегда запомнить, что смысл писательского пострига не в том, чтобы спасти человечество, а чтоб помочь себе уцелеть», — это могло бы прозвучать эгоистически, если бы дальше не следовало уточнение: «Высшая радость — найти, обрести, добыть необходимое слово. Это и есть твое назначение, твое оправдание, твой полет». «Пуля убивает врага, слово способно свалить государство. Поэтому все правительства в мире не жалуют наш графоманский цех и держат его под своим прицелом. Разумная мера предосторожности, когда встречаешься с гуманистами».

Поиск нужного слова, соединение слов, утверждающих ценность человеческого существования, и стали главным делом Леонида Зорина и его счастьем. В конце книги приводятся размышления писателя уже на пороге смерти. Они полны восторга и благодарности за все, что было дано.

«И в сотый, и в тысячный раз твержу: нет большего дара, чем дар писательства. Как мне отчаянно повезло, какое выпало упоение, какой высокий порыв души, я одолел притяжение почвы и наконец-то обрел пространство.

Мне хорошо, мне так хорошо, легко, свободно, какое чудо! Написать и не расплескать, как счастлив я, что рожден писателем, что я составляю единое целое с письменным столом и пером, нет уз, нет тьмы, лишь свет и свобода. На этом я и поставлю точку. Спасибо, я счастлив. Все хорошо».

Откуда же черпаются эти свет и свобода, из чего они сотканы, наконец? Из радости творчества, из восторга создавать с помощью слов новые вселенные и утверждения своего человеческого достоинства.

Вот какой путь придумал себе один талантливый мальчик из города Баку. И, что самое интересное, воплотил свои детские замыслы и прошел этим путем, ни разу не уклонившись, до конца.

Майя Кучерская

Лишние слезы

Монолог

1

После моих многолетних скитаний по съемным комнатам, по углам, столица нехотя потеснилась, признала все-таки москвичом.

Я наконец обрел пристанище в обширном писательском муравейнике. В ту пору подобное событие было сродни легализации, тем более если оно касалось малоизвестного пришельца.

Послевоенная Москва была вместилищем жарких надежд и драматических отрезвлений. Она вбирала и отбирала, была колыбелью, была скудельницей и перемалывала то с хрустом, то неприметно и беззвучно бесчисленные судьбы и биографии.

Но я был уверен, что вместе с жилищем взял неприступную цитадель. Уж если удалось одолеть эти

бездомные мутные годы, я выдюжу любую беду. Знать бы, что еще предстояло!

И все же, первое ощущение не обмануло — законная гавань и впрямь оказалась надежным щитом, который помог держать оборону. Есть крыша, стены, письменный стол — больше ничего и не нужно.

Оставшиеся за спиной десять лет дались мне с кровью — в самом прямом и точном значении этих слов. После успешного дебюта я стал излишне самоуверен, позволил себе не посчитаться с идеологией сверхдержавы. Она, естественно, огрызнулась.

Была опала, была чахотка, пространство вокруг меня поредело. Число недавних симпатизантов сузилось с дьявольской быстротой.

Впрочем, и сам я в те трудные дни предпочитал, по мере возможности, пореже покидать свой окоп. С одной стороны, вполне сознавал, что буду теперь вызывать опаску, с другой — что зализывать свои раны легче и проще без свидетелей.

Теперь, однако, собратья по цеху стали соседями, мало-помалу прежние знакомства окрепли и пополнялись новые связи.

Меж тем литературский заповедник требовал повседневных забот, да и присмотра — нужны были люди с хозяйственной жилкой, со сметкой и хваткой, прочно стоящие на земле.

Найти добровольцев такого склада было непросто — властители дум давали понять, что служение музам не терпит никакой суеты и что их жреческие

обязанности не оставляют ни сил, ни времени. Да если бы оно и нашлось, какой от них толк, не им заниматься котельной, трубами и ремонтом. Они рождены для звуков сладких.

Здесь-то и вышел на авансцену незаменимый Владимир Петрович. Именно он оказался тем, кто был востребован, кто был нужен. Не претендуя на то, чтобы стать небожителем среди прочих жильцов, ни, уж тем более, совестью нации, он согласился взять на себя всякие тяготы и проблемы.

Был кругленький, ладненький, коренастый, начиненный пороховой энергией. В дальнейшей жизни этого улья всегда оставался заботливым пасечником. В общении был терпелив и гибок, но в непредвиденной ситуации умел, коли требовалось, скомандовать.

Возможно, что здесь находил свой выход подавленный командирский комплекс. «Несостоявшийся бонапартик» — пошучивал один мой сосед. Не знаю. Все мы, кто больше, кто меньше, забывчивы и неблагодарны. Но даже если Владимир Петрович взятую роль исполнял с удовольствием, не вижу, за что его укорить.

Он был даровитым человеком. В свои молодые годы успешно трудился в детском кинематографе, был режиссером, стал сценаристом. Трудился большей частью в соавторстве. При этом всегда говорил с улыбкой:

— Очень питательное сотрудничество.

Что также давало повод злословить.

Сам он охотно делал добро и, сталкиваясь с такой реакцией, не мог взять в толк, чем провинился.

Он относился ко мне с симпатией, делился своим недоумением.

— Просто ума не приложу, что их так дергает и напугает... Кажется, хочешь сделать, как лучше...

Однажды столкнулись близко от дома — он весело катился навстречу, маленький шар на коротких ножках, бодр, улыбчив и жизнерадостен — несколько месяцев назад был принят и запущен в работу очередной его сценарий. И я порадовался тогда его удаче — замысел был весьма занятен, а воплотить его должен был мастер — опытный, признанный, лауреат.

Когда он приблизился, я сказал:

— По виду ясно, что все отлично и дело спорится. Угадал?

Он живо откликнулся:

— Так и есть!

Потом, приложив палец к губам, негромко сказал:

— Зайдите к нам вечером. Не пожалеете.

Сделав паузу, веско добавил:

— За-ве-ряю.

2

— Знакомьтесь. Прошу любить и жаловать — Василий Витальевич Шульгин.

Сидевший за накрытым столом ветхий старик учтиво привстал и с легким кивком проговорил:

— Владимир Петрович предварил знакомство наше подробным рассказом. Поэтому кое-что я о вас знаю. Должно быть, и вам уже известно, что я в преклонных

своих годах сподобился стать киногероем. Виновен, но прошу снисхождения.

Мне стоило известных усилий не показать, что хозяин дома решил мне сделать такой сюрприз, но видел, что Владимир Петрович доволен произведенным эффектом. Хотя я и знал, о чем сценарий, но все же не думал, что доведется сидеть с Шульгиным за одним столом. Был убежден, что мой сосед покажет какие-то неизвестные и раритетные документы, сопроводив своим комментарием. Сюрприз превзошел мои ожидания.

Как водится, после первых минут почти обязательной заминки неловкость прошла и, мало-помалу, мне удалось вернуть равновесие. Тем более Василий Витальевич вполне отчетливо сознавал, что я приглашен его увидеть, его послушать — не в первый раз оказывался в центре внимания.

И я смотрел на ветхое, бледное, снежно-бородатое лицо, на череп, отполированный возрастом, в кайме серебряного пушка, слушал негромкий прерывистый голос, словно силившийся вспорхнуть над столом. Казалось, что непонятным образом вдруг оживает старая книга, которую я жадно читаю, вернувшись из опустевшей школы.

Дома, вместо того чтобы лечь, я неожиданно для себя усаживаюсь за письменный стол. Я понимаю, что не засну, пока не сведу воедино им сказанное и мною услышанное, пока не удержу на бумаге этот негромкий высокий голос.

3

— Государь был человек благородный и, прежде всего, превосходно воспитанный, умевший отлично собой владеть, но не было в нем той властной силы, того совершенно необходимого, наиважнейшего звена, которое делает кесаря кесарем. И нередко, когда он себя называл «хозяином русской земли», слова эти невольно вызывали улыбку. Порою сочувственную, порою — печальную, иной раз даже и сардоническую. Но независимо от оттенков — улыбку, которая означала неверие в истинность этих слов. Хозяином он, безусловно, не был. Отец его хотя и казался излишне резким и грубоватым, но это был царь с головы до пят. Когда он произнес эту фразу, с которой он и вошел в историю — вы, разумеется, о ней слышали: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать», она могла заставить поежиться, однако ж нимало не усмехнуться. Что ни скажи, но то был монарх. А сын его... нет... он был иной... И все у него не задалось с первого же дня его царствования. И эта злосчастная Ходынка, поистине роковое начало, когда обезумевшая толпа в какой-то горячке, в слепом исступлении, метнулась за царскими гостинцами, и люди увечили, и калечили, давили и губили друг друга. Право, он мог бы уже тогда лучше понять, разглядеть, увидеть, что же являются собой его подданные, что в них таится, что может ожить. Было б тогда ему призадуматься... Но он, должно быть, пожал плечами, решил, что так они выражают свою признательность и любовь.

А далее все понеслось. Беспрепятственно. Одно за другим. Убыстря ход. Страна устремила к своей гибели. Сквозь эту несчастную войну на Дальнем Востоке и Цусиму, сквозь пятый год, сквозь буйство эсеровщины, когда убийства, как в хороводе, следовали одно за другим, а сами убийцы ходили в героях, либо в страдальческом ореоле мучеников и жертв режима.

И даже когда присяжным умникам казалось, что вот... пришло спокойствие, они не видели, больше того, они предпочитали не видеть, уразуметь, что это спокойствие смердит, что сладкий запах обманчив, на самом деле он означает лишь вероломный запах гниения. Но этого не хотели понять!

Были балеты, были премьеры, беседы в гостиных и рестораны. Был этот жуткий «данс макабр», который казался веселым балом всех этих благополучных людей, так вкусно евших, так много пивших, так увлеченно короновавших то политических адвокатов, то поэтических шарлатанов.

Никто не понял, что выстрел в Столыпина был выстрелом в сердце этого мира, что существуют на свете люди, которых нельзя никем заменить. Нет у других ни этой мощи, ни силы, ни равного ума.

Никто не сумел прозреть и постичь судьбу своей родины, объяснить, что если буря на Дальнем Востоке была началом, то буря на Западе будет концом, что беда за бедой следуют не по воле случая, что есть тут мистическая связь. И бедный, с детства больной наследник, и хитрый мужик, подкосивший династию,

втоптавший в навоз ее ореол. И эта роковая война, которая не сплотила Россию, а разделила необратимо, перевернула ее судьбу.

4

Он прикоснулся к белым губам почти такого же цвета бледным и хрупким ломтиком языка, на миг прикрыл набрякшими веками стеклянные пристальные глаза.

Он сам поначалу мне показался таким же стеклянным, таким же хрупким, но это обманчивое ощущение длилось недолго — я быстро почувствовал, что в нем есть упрямый стальной стерженек.

— Поверьте, в нашей неоднократно осмеянной и обруганной Думе были отнюдь не все карьеристы либо никчемные болтуны. Были весьма достойные люди, во все не циники, а патриоты, но оказалось, что все их усилия и они сами — обречены. То ли страна еще не созрела, не выстрадала парламентаризм, то ли таков был ход истории — судьбу нашей родины определил Его Величество русский народ, как он ее решил — известно. Ныне пусть каждый в меру способностей, совести, своего интеллекта даст оценку его вердикту, его драматическому выбору. Возможно, то было нам воздаяние за непомерную самонадеянность, за ослепление и глухоту.

Он помолчал, глубоко вздохнул, вновь зазвучал, зашелестел высокий, чуть надтреснутый голос.

— Все эти умники и культуртрегеры, умевшие хорошо рассуждать и толковать с озабоченным видом то об Извольском, то о Сазонове, и те из них,

кто с молодых ногтей привык разбираться в придворной игре, не понимали, что им придется платить за эту свою и шумную, и призрачную, странную жизнь, ничем не связанную с реальной, платить за свой изысканный вкус, за свой комфорт и демимонденок, даже за скрябинские концерты.

Но все оракулы и профеты, все наши салонные златоусты, лишь заверяли и уговаривали то ли свою аудиторию, то ли себя самих: не тревожьтесь, утихнет, уляжется, пронесет. Россия всегда на кого-нибудь молится, стало быть, явится новый Мессия, чтоб можно было нам бить поклоны. И все гадали: кто же он? Кто же? Узнать бы наконец его имя...

Вот тут, как чертик из табакерки, выпрыгнул наш Александр Федорович, наш душка-тенор, наш борзый Керенский, и вновь обезумевшая страна заби-лась в истерике, как институтка. Он, он, — явился, укажет, спасет.

Что вам сказать об этом способном и заигравшемся неврастенике?

На политической авансцене возник безусловно незаурядный, весьма импульсивный, легко загоравшийся, много всего начитавшийся в детстве, возможно, поэтому... как подобрать самое подходящее слово... книжный... придумавший... разукрасивший и сочинивший себя человек. Возможно, поэтому и меня долго не оставляло желание понять, или, может быть, угадать: с каким историческим персонажем он мысленно сам себя отождествляет?

Я убежден, с одним из героев ужасной Французской революции. Но с кем? С Робеспьером или с Маратом?

Мне кажется, он в своем кружении уже не видел, не понимал, куда несет его грозный вихрь, как будет выглядеть он не только в глазах обезумевшей аудитории, но даже и в собственных глазах. Впрочем, с самим собою обычно всегда удается договориться.

Но мне, когда я за ним следил, всегда казалось, что я — в театре, смотрю на актера, не слишком ясно понявшего, кого он играет, какая выпала ему роль, к какому жанру относится пьеса.

Ему удалось на какое-то время увлечь своим бенгальским огнем нашу доверчивую страну. Во всяком случае, ту ее часть, которая потеряла голову после февральского дурмана.

Что делать — так уж сложилась жизнь, с ней тесно соприкоснулись судьбы людей, которым воля истории словно навязывала обязанности, несоразмерные с их калибром. Возможно, в этом несоответствии и заключается грустная тайна русского жребия, русской судьбы. Дай Господи, чтоб я ошибался — поверьте, не отношусь к солипсистам, которые рады обречь свой народ на беспримерные испытания, лишь бы кичиться своей правотой.

Но не хочу говорить о себе, долгая жизнь моя прожита, надобно думать лишь об одном — как в ней вернее поставить точку.

5

Его монолог был прерван хозяйкой, которая напомнила нам, что время ужина наступило. И я, да и он, без особой охоты вернулись в сегодняшнюю среду — мне было важно его послушать, ему — оставаться в центре внимания.

— «На миг умолкли разговоры, уста жуют...» — он отодвинул свою тарелку, утер платочком узкие губы. — Ну что же, продолжим театр теней. Как вам известно, хотя не смею причислить себя к властителям дум, но все-таки написал три книжки. Была искусительная потребность поговорить о судьбе человека, который хотел в двадцатом веке прожить не в норке, не на обочине, но, *c'est a dire*, на гребне событий. Мне было важно, чтоб эти опусы вместили в себя мои свидетельства — мои испытания и судьбу. Я честно изложил все, что видел, и то, что понял, я был уверен, что ими исчерпана моя миссия.

Былые страсти ушли, увяли, и все мои душевные силы естественно и закономерно срослись в одной безраздельной страсти. А попросту говоря — в отцовстве.

Бог дал мне трех моих сыновей. Все они дороги, разумеется. Однако со средним меня связало не только отцовское, но особое, истинно кровное двуединство. Оно было больше и родственной близости и даже боевого соратничества. Мы словно выросли один в другого — я мистик по восприятию мира, поэтому смею сказать, что в узах, которые нас соединяли, было и нечто неопределимое, некая непостижимая тайна.

В последний раз я видел его в Севастополе, на Приморском бульваре. Потом я настойчиво, исступленно искал свидетельства, упоминания, малейшие сведения о Ляле. Я дал ему имя Вениамин, но звал я его неизменно лишь так — Ляля. И детское это имя, которое, вроде бы, больше пристало не юноше, не взрослому мужу, каким он стал, а ребенку, младенцу, так и осталось с ним неизменно. Где только я его не искал, впоследствии приехал из Варны — услышал, что промелькнул его след, неясный, призрачный, где-то в Гурзуфе. То были жестокие две недели.

Каюсь, когда через несколько лет дважды я побывал в России, и разумеется, нелегально — мне важно было ее увидеть, чтобы понять, какой она стала, — я все-таки продолжил свой поиск. И было у меня то ли сведенье, то ли виденье о белом доме, что Ляля — в нем, что дом этот — в Виннице, что это — медицинская клиника.

Однажды я снарядил даже шхуну — однако ж и тут вмешался рок: буря ее сорвала с якоря в Босфоре, похоронив надежду.

Ну а дальнейшее вам известно — после своих эмигрантских скитаний обосновался я в Югославии. Все же славянское государство, славянское племя, славянская речь. Там я и был на исходе войны, второй, победоносной войны, найден пришедшими соотечественниками — впрочем, я жил там вполне открыто и ни от кого не скрывался.

Был строгий суд, был строгий вердикт, и чашу свою испил до дна. Срок отсидел — от звонка до звонка — так изъясняются ныне узники.

Вышел на волю, осел во Владимире. Думал, что доживу в тишине, однако ж понадобился еще раз. Наш хлебосольный Владимир Петрович решил предъявить меня на экране в роли поверженного трофея. Всякое обо мне говорят. В особенности те, кто кончает земную жизнь свою на чужбине. Винят даже в том, что я поспешил трагическому концу империи.

Он помолчал, потом произнес с подчеркнутой твердостью:

— Это не так. Это ложь и вздор. Не отрицаю того, что был с теми, кто убеждал Государя отречься от унаследованного венца. Но не для того, чтоб покончить с династией, нет, чтоб ее укрепить. Я понимал, что мое отечество, чтоб не утратить ни сути своей, ни предначертанной ей судьбы, требует единоличной власти — разве ж движение истории не подтвердило моей правоты? Дело не в том, как зовется правитель, дело в его единовластии. Россия так задумана Господом, или неведомым Высшим Разумом, имя которого нам неизвестно. Вот почему она не приемлет, не хочет иного мироустройства.

Это мистическая страна, и я говорю это не потому, что сам я — мистик, чего никогда не таил, не прятал, а потому, что я ее часть, и, стало быть, есть во мне след ее тайны.

Он вновь призадумался, вновь утер узкие бледные губы, вздохнул:

— Я согласился на предложение Владимира Петровича, право же, не оттого, что мечтал о лаврах, не оттого, что хотел напомнить, что некогда жил на этой земле. Решился я предстать на экране, чтоб повторить, что в смерти монарха я неповинен ни в коей мере, напротив — хотел я его спасти. Не мог я уйти под ужасным бременем мной несодеянного греха.

Отпив глоток остывшего чая, он с грустной усмешкой развел руками.

6

Если меня не подводит память, примерно год-полтора спустя, возможно, чуть больше, я оказался в морозном заснеженном Ленинграде.

Я очень любил приезжать в этот город, и каждое свидание с ним всегда оказывалось подарком. Естественно, летом, когда его улицы были согреты солнечным светом, переходившим в белые ночи, он мне казался астральным чудом. Но и зимой, озябший, нахохлившийся, он не утрачивал колдовского, почти гипнотического очарования.

Стоило выйти из «Красной стрелы», из долгих, словно насквозь продутых просторов Московского вокзала, увидеть притихшую зимнюю Лиговку и Невский, копьём распоровший воздух, как сразу же замирало сердце в томительном ожидании счастья, в ожившей надежде на встречу с чудом.

Но в Питер я прибыл не для прогулок, а по делам, на киностудию. Мне надо было быстро придумать и записать два эпизода для фильма по моему сценарию.

В одном из бесчисленных коридоров я встретил Владимира Петровича.

Обрадовался он мне с непритворной, растрогавшей меня непосредственностью.

— Просто удача, что вы появились! Не представляете, как это кстати. Прошу вас о дружеской услуге. Картина наша вполне готова, мое ощущение человека, который не первый год в кинематографе, что можно за нее не краснеть. Но мой уважаемый мэтр чудит. Понять невозможно, какая муха его, ни с того, ни с сего, укусила. Но — с каждым днем все больше мрачнеет. Я поначалу полагал, что это кокетство, но — нет... Захандрил в классических декадентских традициях. Очень прошу найти два часика, взглянуть на итоги наших усилий и привести его в равновесие. Я как-то упомянул ваше имя, оно не вызвало отторжения. Скорее даже — наоборот. Вы очень, очень меня обяжете.

Я вежливо прервал монолог.

— Совсем не надо меня просить. Мне это самому интересно.

— От всей души вас благодарю.

Уже на исходе рабочего дня я был приглашен в просмотровый зал. Мастер приветствовал меня хотя и сдержанно, но благосклонно.

— Мой возраст, регалии и все звания очень прошу на время забыть. Будьте нелицеприятны и строги. Это единственная просьба.

Я заверил его, что кривить душой не стану — он может быть спокоен.

Мастер нетерпеливо крикнул:

— Готовы?

И, не дожидаясь ответа, грозно скомандовал:

— Начинайте.

Должен признать, что я ни разу не шевельнулся и не отвлекся.

Не оттого, что увиденный фильм так покори́л своим художеством. Я видел его несовершенства.

Прежде всего, был уныл и бесцветен актер, приглашенный на роль комментатора. Он был удручающе невыразителен, этакий «человек без свойств». Та внешность, которая полагалась всем положительным киногероям — тогдашние острословы ей дали определение — «радость обкома». Он и олицетворял суд истории — именно так назывался фильм.

Показан был и основной оппонент — уже не артист, а почтенный старик, член партии чуть ли не с первых дней ее основания — он согласился, преодолевая свой древний возраст, предстать в заключительном эпизоде. Его появление на экране и было, по мнению авторов фильма, вердиктом, не подлежащим обжалованию.

В зале Таврического дворца, в том самом, где некогда заседала в те черные дни российской монархии последняя обреченная Дума, была заснята встреча

двух старцев, один из которых был депутатом того — разогнанного — парламента, другой — историческим победителем.

Лучше бы авторы отказались от столь впечатляющего аккорда! Несопоставимость обоих геронтов была драматически очевидна. За Шульгиным читалась трагедия, за появившимся ветераном — была удручающая исчерпанность.

Ни две-три реплики им озвученные, ни кислый авторский комментарий уже ничего не изменили — экран был адски красноречив.

Я засвидетельствовал режиссеру и автору свое удовольствие — честно сказал, что смотрел их фильм со все возрастающим волнением. Их главный герой безошибочно выбран — его значительность, его драма, вполне соотносятся и отражают тот оглушительный поворот, который совершила Россия.

Но седовласый мэтр нахмурился и сокрушенно махнул рукой.

— И вы — туда же... Я потерпел свое политическое поражение.

Я удивился. И возразил:

— Не может творческая победа быть поражением.

Он вздохнул:

— Как видите, может. И оказалось, что весь мой опыт и все умение были потрачены на то, чтоб зритель увидел, как привлекателен и мудр наш несдавшийся враг.

7

Ночью я возвращаюсь в Москву. Во тьме непроглядной стучат колеса. Не спится. И точат, не отпускают сменяющие друг дружку думы — неясные шорохи сознания. То ли мои ночные страхи, то ли давно во мне поселившиеся предчувствия новых утрат и бед.

Случайно ли среди стольких людей, которых выпало мне увидеть, среди отлученных, забытых, воскресших, среди имен, вошедших в столь пеструю, разноречивую мозаику двадцатого века — героя октябрьского переворота наркома Бубнова, Горького, Бабеля, среди театральных очарований, судьба вместила и эту встречу? С посланцем погребенной эпохи, иного мира, другой страны.

Он все познал, он все потерял. Утратил и оплакал монархию. Прошел сквозь коммуносоветскую власть. Он долгие годы томился в лагере. И весь этот непомерный срок его биография оставалась в пределах трагической одиссеи.

И вдруг сработал незримый рычаг, и в миг единый сменился жанр — трагедия по Марксовой формуле и впрямь заканчивается фарсом.

Вот он уже извлечен из города, в котором доживал свои дни, вот он сидит передо мною в квартире московского сценариста, напавшего на манкий сюжет — все завершается неожиданно и живописно: актерским дебютом.

Впрочем, не все так парадоксально. В пьесе присутствует подтекст. И у Василия Витальевича есть,

безусловно, своя сверхзадача, которая его побудила принять неожиданное предложение. Он и не скрыл ее от меня — не хочет уйти с клеймом человека, приблизившего ужасный конец последнего русского самодержца.

А все же — ловлю я себя на главной, финальной, все итожащей мысли — шекспировский, даже античный пик его переполненной судьбы был в тот роковой, сокрушительный день, когда, рискуя своею жизнью, вернулся он тайно из эмиграции, чтоб хоть посмотреть на тот белый дом, в котором, по слухам, исчез его сын.

8

Однажды неотвратимо и властно приходит твой срок подвести итоги. И пусть не однажды себе внушал: не делай этого, это значит, что ты окончательно расстаешься со всякой надеждой на завтрашний день. Все вздор, если надо понять, как прожил отпущенные тебе часы. Надо ли было столь одержимо стреноживать летучую мысль, чтоб пригвоздить ее к бумаге? Записывая, всегда ограничиваешь, всегда рискуешь ее оскопить.

Давным-давно, совсем молодым, смотрел я биографический фильм об Эдисоне. С тех пор прошло, пролетело семь, возможно, и восемь десятилетий. Но в память мою навсегда впечатался его заключительный эпизод.

Помню, как замерцали титры: «Золотой юбилей электричества». Празднично иллюминирован зал, в глубоком кресле сидит Томас Альва, вокруг него — молодые

красавцы, все в смокингах, в кокетливых бабочках, пышут энергией и честолюбием.

Кто-то из них наклоняется к старцу, почтительно спрашивает:

— Что для вас важнее всего на этом свете?

С усмешкой мудрец произносит:

— Время.

В ту пору я не считал своих дней, не отличал часов от мгновений — спокойно позволял им струиться, подобно толченому песку. Тем с большей бесповоротной ясностью пронзила меня простая истина: отпущенная мне жизнь мгновенна. Стало быть, каждым подаренным мигом я должен с толком распорядиться. И помнить, что цены ему нет. Уже ни одно другое открытие не потрясло меня так, как это: жизнь — отсроченная смерть. Я только и спрашивал сам себя: за что, за какие свои грехи, каждый из нас с минуты рождения приговорен к тому, чтоб исчезнуть? Неужто за Каинову вину? Однажды спросил о том отца.

Отец вздохнул:

— Возможно, что так. Очень уж мы несовершенны. Грубы, размашисты, толстокожи. К планете относимся, как друг к другу. Залили кровью, травим ядом.

Он был невеселым человеком. Однажды признался, что нет у него других собеседников, кроме сына. Отъезд мой приблизил его конец.

Ныне я много старше него. Страшно подумать, на тридцать лет. Если бы он воскрес сегодня, то мог бы даже стать моим сыном. В сущности, нет

ничего удивительного, что время нас поменяло местами, что тяжкий опыт двадцатого века меня наделил отцовским чувством к тому, кому я обязан рождением. Эта способность выйти из клетки собственной личности и ощутить сердечную боль пусть даже любимого и, все же, другого человека и есть то, что делает нас людьми.

9

Я верил, что смогу возместить свои ограниченные возможности способностью сидеть за столом — по десять, по двенадцать часов.

Именно так сложил я жизнь, но век, в котором она прошла, все же добавил ей разнообразия. Было в ней вдоволь горя и бед, были и радости, — как говорил мой многолетний приятель Сарнов: не было скуки. За что ей спасибо. Какая она ни есть — моя. Такую выбрал — другой не надо.

Я убедился: удача приходит к тому, кто делает шаг ей навстречу. И остается не с тем, кто терпит, а с тем, кто действует — только с ним. Не то чтобы этого я не знал, но книжные прописи мало запомнить. Они бессильны, пока однажды не станут частью тебя самого.

Сейчас, когда я подбиваю бабки, похоже, что важнее всего понять, почему же я так и не смог, хотя бы на час, на миг расслабиться, шепнуть себе самому: получилось. Этого так и не произошло.

А дело оказалось за малым: не убеждать ни других, ни себя, что не напрасно провел за столом свой

графоманский невольничий век. И ежеутрене, каждодневно водить своим перышком по бумаге. Извлечь из себя свои три абзаца. Все прочее — не твоя забота.

Но эта очевидная истина открылась мне во всей полноте только теперь, когда остается собрать в пучок все силы души, чтоб сделать столь трудный последний шаг.

Чем ближе ледяная пустыня уже подступившего небытия, тем мне дороже этот безумный, мятущийся, обреченный мир. Свобода и тягостна и невозможна, воля опасна, но есть независимость. Сбереечь ее или ее отдать, зависит от самого человека. Только от него самого.

январь 2017